

Клубные встречи *Вег клуб -1996. - 17 февр. - е.в.*

Беседуя со мной, писатель Анатолий Приставкин показал случайно подвернувшуюся под руку фотографию: он собственной персоной сидит на электрическом стуле. Невольно захотелось пошутить насчет рабочего кресла председателя Комиссии по помилованию при Президенте РФ, но я все же сдержался. Но о происхождении снимка, конечно, полюбопытствовал.

Анатолий ПРИСТАВКИН: После убийства Листьева Президент сказал: «Я буду их всех казнить». С тех пор не было ни одного помилования

— Это снято в Италии. Там существует мощная организация под названием "Не убивайте Каина", выступающая против смертной казни. И вот они предлагают разным известным деятелям посидеть на этом стуле и сфотографироваться, чтобы люди хотя бы приблизительно почувствовали на себе, какие могут возникнуть ощущения. Я сначала отказывался, но мне сказали: "Ты посиди, посиди!" Я-то думал, что это бутафория, а оказалось — натуральный стул, бывший в употреблении, казнили на нем. Браслеты кожаные потертые...

— Сколько уже лет вы работаете в Комиссии по помилованию?

— Ровно четыре года.

— Приход сюда — какое-то личное побуждение?

— Что вы, я отбрыкивался изо всех сил. До этого отказался человек восемь, по-моему. Я в списке девятым шел, а под десятым номером уже никого не было. И я отказался, естественно. Но Сергей Адамович Ковалев приехал ко мне, и мы пили всю ночь и разговаривали о жизни. И к утру моя жена произнесла горячую речь о моем возрасте, о том, что у нас маленький ребенок, о том, что у меня недописанный роман, и о том, что мне нужно жить, а не заниматься преступлениями. Он покивал, подал руку и сказал: "Вот и договорились!" Потом я два месяца тянул с этим делом, думал — как в том самом фильме — может, рассосется. Не рассосалось... И я попросил полный карт-бланш по составу комиссии. Мне его дали. И я сделал предложения очень известным в стране людям — и прежде всего тем, кто отказался от председательства до меня. У нас не только писатели, тут и политикаторы, и священники, и генерал МВД есть. 13 человек.

— По какому принципу вы приглашали людей в комиссию?

— Зная, что ситуация такая, что никто никому не верит, все продается и покупается, коррупция в стране, я считал, что сюда должны прийти люди неподкупные, с точки зрения любого заключенного. Он должен знать, что Булат Окуджава, который станет его дело читать, будет делать это честно. И Лев Разгон, который 17 лет отсидел, будет честно читать.

Комиссия еженедельно получает от 120 до 250 общеуголовных дел и примерно 7—10 — осужденных на смертную казнь. Всю неделю члены комиссии читают, а во вторник заседаем до упора, пока не рассмотрим все эти дела.

— А вы вообще противник смертной казни?

— Да, но иногда голосую за нее — в случае преступлений против детей и по делам маньяков, которые, на мой взгляд, не должны жить... У меня очень тяжелое прошлое. И в банде был, и мог влететь куда хочешь, по любой дорожке. И я знаю, что такое жизнь человеческая.

— В банде — подростком, юношей?

— Да. И я мог вот там быть, среди этих дел. Поэтому я совершенно убежденный противник смертной казни и голосую за нее в исключительных случаях. Комиссия же в целом — приблизительно фифти-фифти. Такое равновесие. Но в конце концов Президент решает, а мы ему только советуем.

— Сколько человек за эти годы вы спасли от смертной казни?

— В бывшем СССР до 700 казней в год доходило. Вот, к примеру, 1985-й: помиловано 5, казнено 404. 1986-й: 12 помиловано, казнено 277. В общем, цифры большие. А в первый год нашей работы помиловано 55, казнено один. 1993-й: помиловано 149,

казнено 4. 1994-й: помиловано 134, казнено 19 — видите, нарастает немножечко число казненных. В прошлом году: помиловано 5, казнено 86. Это я называю президентские цифры, а о том, как решала комиссия, я вам не говорю.

— Чем объясняется рост числа "вышек" в последнее время?

— Общей ситуацией в стране. Чечня, ожесточение преступности — все влияет на Президента. И когда он сказал после убийства Листьева: "Я буду их всех казнить", — с тех пор ни одного не было помилованного. Но дело не только в Листьеве, очень много писем идет с просьбой ужесточить наказания. То же — в газетных статьях. Идет давление филологических структур, а их влияние увеличилось. И все требуют от Президента ужесточения. И ведь какие мы, такой и Президент. А народ у нас за смертную казнь — 67 процентов за нее.

— Я тоже "за" и ничего тут не могу с собой поделать.

— И не надо. У вас хорошая компания. Вот у меня и жена за смертную казнь.

— А что стало с вашим писательством? Вы ведь всю жизнь, по-моему, были человек вольный, никогда не служили, если не считать журналистики.

— Это была нормальная, своя служба. Я никогда не был начальником, а здесь я начальник. Ведь глава Конституционной комиссии по помилованию — это ранг министра. Вот там, посмотрите: одна "вертушка", другая, связь с Кремлем... Это несомненно с творчеством.

— Так, может быть, здесь нужен не писатель?

— Но это не чиновничья служба. Мои функции — организовать комиссию так, чтобы она была милосердной, поскольку прокуратура, МВД, ФСК и просто народ, все направлены на ужесточение. А для смягчения нет органов, кроме маленькой горстки комиссии. Поэтому моя задача нравственная. До нас были суд, прокуратура, следователи, они разобрались во всем юридически. Мы не подвергаем сомнению решения суда — начинаем с момента личностного: сколько лет, какие дети, как ведет себя, как относится к своему прошлому, как изменился, пришел ли к религии, осознал ли преступление. Тысячи всяческих приводящих человеческих факторов влияют на наше отношение. И нужно учитывать, чего у нас никто не понимает, что помилование — это вовсе не освобождение, а смягчение участи. А ведь про нас как говорят: "Вот вы преступников освобождаете!"

И эта работа естественна для меня, для писателя, который звал к милосердию в книгах своих, хотя бы в "Тучке". Почему Чехов, у которого уже была неизлечимая болезнь, и он знал, что его жизненный срок ограничен, шел на какой-то тарантас, потащился за тысячи верст и начал помогать каторжанам на Сахалине? И тем укоротил свою жизнь. Но если ты проповедуешь добро — делай его. Я за то, чтобы человек в жизни и в литературе был одинаков. Но за этой моей повседневной работой, за читкой дел — ненаписанные книги. Я теперь чучка — не писатель, а чучка-читатель.

— Это драма.

— Знаете, когда Бог меня призывает, он спросит: "Что ты делал?" — Я скажу: "Писал книги". — "А еще что?" — А я скажу: "А я еще спас столько-то жизней". И, может быть, Он меня не казнит... Какая драма? Неизвестно, что важнее — жизнь человеческую спасти или написать про нее.

Передо мной стояла одна задача в Прибалтике, когда после вильнюсских событий на-

ши танки должны были быть выведены против населения... И надо было выйти на улицу, обратиться к солдатам. И кто-то вышел, а кто-то сидел и писал нетленку, а еще кто-то сделал вид, что он ничего не знает, и уехал в Москву. И они сейчас — уехавшие — тоже классики и ни в чем ни перед кем не виноваты, и никакого стыда не испытывают. А я тоже не испытываю стыда: я вышел на улицу — и две дивизии не пошли убивать людей. Я спас чью-то жизнь, может быть, детские. У меня тогда кэзэбэшники уничтожили записанные для дочери сказки, побили все компьютерные диски. Но что ценнее — создать нетленку или защитить человеческую жизнь? И нужна ли эта нетленка, если у твоего порога убивают?

— Нынешняя работа для вас, помимо нравственного долга, может быть, еще и какое-то искупление собственных грехов?

— Грехи у всех у нас есть. И искупать их можно разными способами: молиться в церкви, давать сиротам деньги... Думаю, особо больших грехов у меня нет. Единственное — я ненавидел тех, кто хотел убить меня много раз в жизни, маленького еще. Эта ненависть, может, и это моя вина, Бог знает! Вопрос ваш справедлив в одном: все мы в чем-то перед кем-то виноваты и всю жизнь пытаемся искупить. Но я не предполагал, что, работая здесь, что-то этим искупаю. Между прочим, перед тем, когда я пошел сюда работать (еще предложения не было), случился у меня провидческий сон, невероятно меня поразивший. Мне приснилось, что меня кто-то взял на руки вот так — и понес куда-то, к чему-то. И я от тепла, любви растворился...

— Это было счастливое ощущение?

— Невероятно. Никогда не испытанное раньше. Совершенно невообразимое чувство. А на следующий день мне одна женщина сказала: "Слушайте, какое-то лицо у вас сегодня..." И я ей сон этот рассказал. "А вы можете это написать?" — Я говорю: "Пожалуйста". И написал страничку. Она ее у меня взяла и говорит: "Вы не знаете, что это такое. Теперь я буду хранить эту страничку". — Я говорю: "А что?" — "Это же Он вас брал..." А через неделю появился Ковалев со своим предложением.

— А вообще вы человек...

— Верующий.

— Сильно или как-то так?

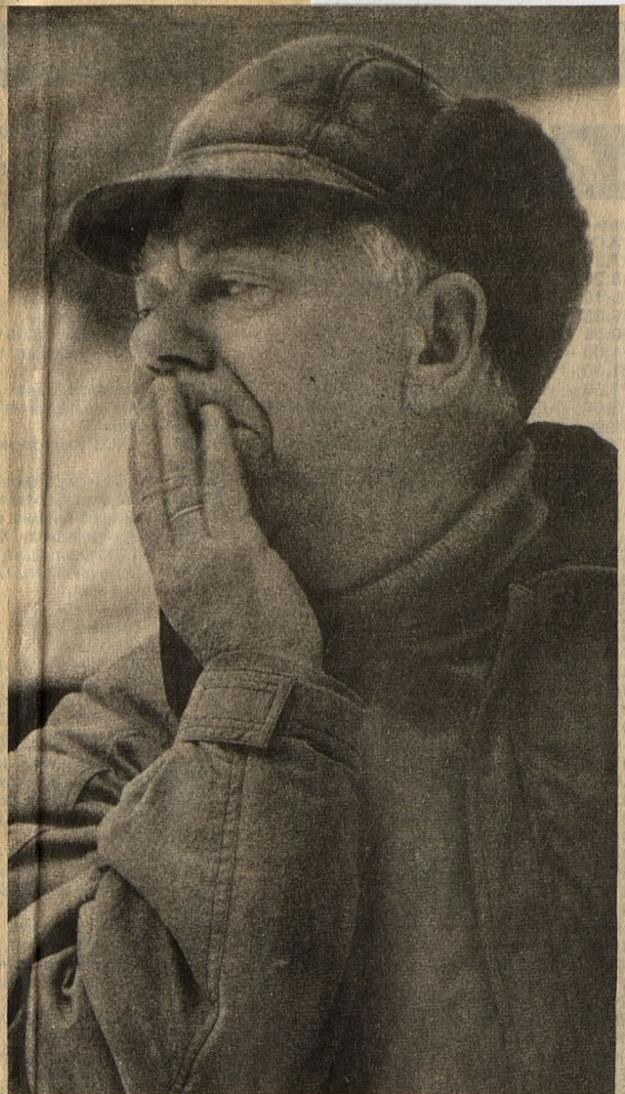
— Я не придерживаюсь ритуалов, в церковь хожу по случаю, считаю, что это дело очень интимное. Дома у меня свои иконы, я ставлю свечки. Но верю очень глубоко и навсегда, до конца.

— Когда вышла в свое время ваша знаменитая повесть "Ночевала тучка золотая", был большой сердечный резонанс в обществе. А сейчас идут бои в тех местах, которые у вас описаны. В сводках с войны встречаю названия, знакомые по вашей книге. Руки не опускаются: мол, вы пишете, и вроде все бестолку?

— Но и "Хаджи-Мурат" не повлиял на войну в Чечне. А Толстой был помощнее какого-то Приставкина. Литература ведь не бьет в лоб, как наши залповые минометы. Я знаю, что каждый чеченец читал мою книгу. И когда в первый еще год, еще не озлобившись, они выпускали наших пленных к матерям — это не те ли, кто ее читал? Но остановить войну никакая книга не может.

— А представьте, в военных академиях ваша повесть — как обязательное чтение для офицеров. И солдаты ее читают вместо политзанятий...

— Нет, я не уверен в прямом воздействии литературы. Очерк



может повлиять или интервью — это непосредственное обращение к читателю, оно может воздвигаться, как сильное слово Эренбурга в войну. И единственный человек, которого за последние время услышали, это новгородский губернатор. И надо пытаться вместе с ним остановить войну — это спасение страны. Иначе сам Президент проиграет, страна проиграет, реформы и мы все. Потому что если коммунисты придут к власти — это все.

— К тому и идет, вам не кажется?

— Потому и кричим, потому что есть еще возможность несколько месяцев кричать. Другого нет выхода никакого. Я изучил их программу очень хорошо — это не социал-демократы, это большевики. У них вся программа большевистская. И этим они страшны.

— Не думаю, что им удастся загнать нас обратно на кухни.

— Я читал Франка, читал Бердяева, они так же говорили в 17-м и 18-м. Они тоже считали, что большевиков слишком мало и им ничего не удастся. Результат известен.

— Вы пропускаете через себя такое количество дел, трагических судеб, наверняка это очень сильно изнашивает вас.

— Конечно. И иногда мне члены комиссии говорят: "Я больше не могу, я не буду работать". А у меня дома не разрешается даже говорить об этом, не то что дела показывать. И вот когда у меня была история одной девочки, которую уничтожила мать, я в туалете плакал. Заперся, чтобы никто не знал, и плакал... Когда я пришел в комиссию, меня повели по отделам. И есть у нас отдел смертников — комната, где дела все эти хранятся. Там нас женщина встретила. Я говорю сопровождающему: "Какие у нее странные глаза..." А он мне: "Анатолий Игнатьевич, поработайте несколько лет, и у вас странные глаза будут".

— И как же вы снимаете эмоциональные перегрузки?

— Бывает, что зашкаливает, нервы уже не выдерживают, и кто-то заявляет: "Все! В следующий раз я не приду!" А я говорю: "А в следующий раз мы будем выпивать". Приходим, я вот здесь ставлю бутылки, и мы просто пьем. И разговариваем о жизни. И тогда облегчение наступает, и опять можно работать. Но привыкнуть к этому нельзя. Знаете, я с тех пор, как "Тучку" написал, ни разу ее не читал. Знаю ее только по рассказам других. Я не мог. Когда меня заставили ее редактировать, меня жена все время заставляла на третьей странице с мокрым от слез лицом. "Ты опять себя читаешь?" — "Я должен, мне нужно выправить..." — "Я за тебя буду читать, а ты не смей! У тебя разорвется сердце"... Так вот эти дела то же самое. Это нельзя нормальному человеку пережить. Мы же читаем в подробностях, это же не роман, где страшные сцены можно пропустить.

— У меня такое ощущение, что вы никогда не используете в литературе познание здесь.

— Нет, это невозможно. Ма-

ньяк-людоед из Подмосквы: засаливал, ел, угощал — это невозможно умом понять. Или Чикатило. Или когда женщина над плитой горячую сажала, на мороз выгоняла, топила в ведре, подвешивала на несколько дней на гвоздь — и добила ее. Ниночкой ее звали. И я не мог той женщине простить. Ну как я об этом еще писать буду? Я хочу забыть это. Уж и времени-то мне не так много осталось. У меня же столько незавершенного! Недописанный исторический роман из любимого моего времени правления царя Алексея Михайловича.

— В поездках за рубежом вы часто посещаете тюрьмы...

— И у нас в стране.

— Конечно же, сильный контраст?

— Ну, система у нас гулаговская. И народ наш выработал нормы, совершенно не похожие на те, которые доктор Гааз проповедовал. Раньше ведь в России если заключенных проводили по городу, им бросали хлеб, деньги. Была жалость, она вырабатывалась в людях намеренно. Прогрессивными писателями, судьями, адвокатами. Сейчас другое отношение: раз взяли, значит, за дело, значит, так тебе и надо. Это тоже идет с гулаговских времен. И та система сохранилась — эти "белые лебеди", где людей пьют водой, морозом.

— "Белые лебеди"?

— Да, это лагеря для особо опасных, где применяются пытки. Кинокадры есть документальные.

— Где, по-вашему, самые приличные тюрьмы?

— Вообще тюрьмы более или менее приличные почти во всех европейских странах.

— А в какой самые приличные?

— В Швеции. Мы туда приехали, а нам сказали: "Сейчас начальники тюрьмы придут — он рыбачит". Смотрим — три человека сидят, удят, двое заключенных и начальники тюрьмы. У них цвет стен должен не раздражать заключенных. В камерах по двое, но есть и камеры для тех, кто не переносит коллектива. Там Черняк наш сидел, олимпийский чемпион по боксу, может, помните? Он у них пытался ограбить какой-то банк. Сидел, изучал шведский язык на компьютере... Жена и ребенок заключенного обеспечиваются государством в размере средней зарплаты, пока он сидит. А на субботу-воскресенье его отпускают в семью. Это невероятно все. Но они правильно говорят: на свободу должен выйти нормальный человек, а не преступник. Немцы тоже говорят: мы тратим 130 марок в день, чтобы налогоплательщик мог не бояться человека, вышедшего из тюрьмы. А наши, естественно, выходят волками.

— А что это у вас за бляба такая стоит красивая, золотая?

— Это сувенир из итальянской тюрьмы, подарили нашей комиссии. А там рядом рисунок моей дочки, где она летит и три сердечка несет — мамин, мое и сердечки своей... Почти в духе Шагала, правда?

— Это сувенир из итальянской тюрьмы, подарили нашей комиссии.

А там рядом рисунок моей дочки, где она летит и три сердечка несет — мамин, мое и сердечки своей... Почти в духе Шагала, правда?

Фото Владимира БОГДАНОВА.